

German Andreev (Fein), Interview with Philip Boobbyer, Paris March 1997, transcript in Russian

Часть 1

ФБ: [...] формирование совести и [значимость] совести в диссидентском поколении, в русской интеллигенции. Я хочу попробовать подойти к теме через личный опыт. Какие были влияния на человека в детстве, в школе и какие были кризисы совести, как люди справлялись с этой проблемой и так далее. Что мне было бы интересно вначале узнать – это [немного] о Вас, где Вы родились, о Вашем детстве, какие были самые яркие влияния и так далее.

ГА: Значит, я начну с самого для Вас важного, после чего, наверное это интервью кончится. Я не был диссидентом, я – никакой не диссидент. Более того, я даже не знаю, что такое диссидент. Насколько я это себе представляю, русские диссиденты себя так не называли. Может быть, я ошибаюсь, по-моему, они себя называли правозащитниками, а иногда вообще никак не называли, а делали своё дело. На мой взгляд, если бы меня спросили, я бы сказал это духовное сопротивление тоталитаризму. А так, я не был диссидентом. Тогда возникает вопрос, а оказывал ли я духовное сопротивление? Нет, не оказывал, не оказывал. Я слабый человек был, я – не герой. Я был учителем литературы. Я делал честно свое дело так, как я считал его нужно делать честно. Для меня самое важное было – это профессионализм, а не противостояние этому строю. Но иногда бывало так, особенно, когда я преподавал советскую литературу... Вот я говорил, чтобы он не слушал, он уже видишь... (Обращается к мужчине.)

Вы понимаете, когда у меня был урок о Евгении Онегине, мне не надо было сопротивляться существующему строю. А вот когда я давал урок по социалистическому реализму, тогда возникало то, что Вы называете проблема совести. Тут нужно сказать, когда я начал преподавать... Я стал учителем, сталинское время, я старше их. Я вошел впервые в класс в маленьком городе Ялта, закончив Московский Педагогический Институт в октябре 1950-го года. Это самое страшное сталинское время после 37-го года – для меня самое страшное – это моё мнение; *самое* ужасное это 32-33 годы – уничтожение крестьянства. Это мне кажется, хуже уже ничего не могло быть, в том числе 37 год. Ну это моё субъективное представление.

Следующий [период] – это 50-й год: борьба с космополитизмом, с низкопоклонством перед Западом и, в сущности, стремление полностью закрыть Россию. И главное, на основании ложной предпосылки о приоритетах русских... (смеётся). У меня была сложная ситуация. Дело в том, что я всегда был немножко русский патриот.

ФБ: Когда Вы родились?

ГА: В 28-м году. В том смысле, что когда во время борьбы с космополитизмом стали говорить о приоритетах во всем русского, я соглашался. Я соглашался... Но. Только в одной области – в области культуры. Я считал, да, лучше русской литературы ничего нет; лучше русской музыки... Но тогда я еще думал так, теперь я иначе думаю. Теперь я

думаю, что Моцарт, скажем, лучший композитор в мире. Но тогда я думал, опять русские... Так что для меня это борьба с космополитизмом в какой-то степени вызывала у меня сочувствие до той поры, когда я понял – а понял я быстро – что слово ‘космополит’ заменяет просто ‘еврей’. Вот тогда я понял, что тут мне места нет, в такой борьбе за русский приоритет (смеётся), за русскую славу... Но я продолжал делать своё дело. И в этом отношении, я не знаю, можно ли говорить о том, что я шёл на сделку с совестью? Я говорил, да, ребята, да... Я больше шёл не на сделку с совестью, я шёл на сделку со своим профессионализмом, что я был глупый, когда я говорил, что Бальзак и Флобер были хуже Гоголя и Лермонтова. Это был в общем-то непрофессионализм, понимаете? Но это совпадало, мне не нужно было с собой бороться, мне нужно было считать, что я подыгрываю – я так и считал. Глупо считал, но я так считал.

ФБ: Можно спросить о Ваших родителях? Чем они занимались?

ГА: Я не думаю, что это Вам даст что-то для объяснения моей ситуации, но я скажу... У меня родители, моя мама – интеллигентка в 3-м поколении, но из так называемой народнической интеллигенции, не дворянской. У нас в семье были традиции народнической этики. Я, например, никогда не забуду, как мне отец дал по шее – вот так вот (показывает) – когда я сказал нашей домработнице *ты*.

ФБ: Понятно.

ГА: Мне было около 6-ти лет, и я сказал: “Маш, иди...”

- Как ты смеешь представителю народа! Это крестьянка!

И я нашу Машу должен был называть *вы* – Мария Ивановна. А была она полуграмотная крестьянская девка. А я должен был *только так* говорить, если Вас это интересует... Она была членом нашей семьи.

ФБ: Мне интересно, как передаются ценности через поколения.

ГА: Да, все правильно. Это со стороны матери. Со стороны отца... Мои предки из Риги, из Латвии; тогда не Латвия была... Из немецкой культуры. Я не говорю о национальности их, я говорю о культуре. Родной язык у папы был немецкий. Бабушки, дедушки – немцы. Они были просто буржуа, просто капиталисты, буржуа... Но. Опять где-то связанные с тем, что называется культура. Мой папа – инженер, стал коммунистическим функционером. Но он не был партийным функционером, он был правительственным функционером. Он сделал большую карьеру в советское время. Он был заведующим отделом энергетики Госплана СССР – это очень большой [отдел]... Но. Эти народнические традиции остались в нашей семье. Если Вас это интересует, расскажу.

ФБ: Интересует.

ГА: Папа получил все привилегии, и он ими не пользовался. Более того, он и не знал о них. То есть он думал, что он может пользоваться, но он не знал, что он *обязан* пользоваться этими привилегиями. И когда, я помню, папа пришёл и сказал, что у нас

есть доступ в кремлёвский магазин – закрытый магазин, моя мама твердо сказала “Не пойду. Мне стыдно”. Ну а мне не было стыдно, Я пошел. И ходил в кремлевский магазин. У меня были дети, мне их надо было кормить... А мама сказала: “Не пойду, мне стыдно”. На что папа сказал, мол, ну и не надо, не будем пользоваться. Его вызвали к начальнику Госплана – был такой Байбаков – и сказали, мол, Вы что же считаете, что мы все нечестны, а Вы честны? Ну и тогда нависла угроза увольнения.

ФБ: Это было в каком году?

ГА: Всё это с 50-го по 55-й год примерно, всё это развивалось. Например, некоторые эпизоды о нашей семье: папа мог прийти летом и сказать, вы знаете мне в Госплане дали на лето дачу. Ну слава Богу – дача; поехали. И жили мы вот в такой комнатке, впятером! Я со своей женой, мама с папой. А когда мы гуляли по поселку, папа говорил, мол, вон видишь вилла – это мой зам (заместитель) Иванов, а эту виллу видишь – мой зам Петров. Я говорю: “Пап, а почему же замы там, а мы здесь, в какой-то..?”

- Как тебе не стыдно! Ну так вот надо.

Вот такой папа был. Но я думаю, что не это меня сделало... Ну не диссидентом... Противником этого строя я постепенно стал. Стал! Русская литература, русская религиозная литература. Не богословская литература, а религиозная суть русской литературы. Это Толстой, это Достоевский, но прежде Толстой... И вот, начитавшись Толстого, я понял, что я враг этой системы, что я жить не могу в этой системе.

ФБ: Вы можете рассказать как это влияло, как это было, через чтение...?

ГА: Ну я же преподаватель был.

ФБ: Я имею в виду, другие люди тоже говорили, что моя совесть, мое нравственное чувство формировалось через литературу...

ГА: Да, русская литература. Но у меня, видите, совесть духовная – через русскую литературу, а совесть бытовая – через маму и папу, через семью мамы и папы. Совесть там была тоже ограничена. В конце концов, папа был функционер в 50-е годы, когда людей сажали, расстреливали. Точка. Поэтому на этом уровне, он меня не мог научить совести. Единственное что – папа наотрез отказывался говорить в семье о политике. То есть он меня не воспитывал коммунистическом духе.

ФБ: Понятно.

ГА: На отрез – нет, не интересно. Всё. Он молчал.

ФБ: Интересно.

ГА: Ну если интересно, дай Бог. Он, значит, более того, он приходил...

ФБ: Какие моральные ценности были в семье?

ГА: У нас в семье были моральные ценности русской интеллигенции. Да, вся этика русской интеллигенции была у нас в семье: не предавать, не лгать, не обманывать, не похабничать ни в коем случае – это вообще у нас исключено было – всякие похабные слова, похабные истории...

Я сейчас скажу смешную вещь, и Вам будет интересно. Сейчас вышла книга такого писателя Нагибина. Был известный писатель русский Юрий Нагибин, советский. Вышла его книга – дневники. И он там рассказывает... А он жил там же, где я, в Москве, я – москвич, в центре Москвы... И среда та же – интеллигенция. И он рассказывает о разврате, как они каждый день женщин меняли, о пьянствах... Я ничего этого не видел. Не знал я этого. Я об этом ничего не знал! Потому что у нас был такой мир... Потому все это было, ну уж совсем как-то... Мне это потом тяжело было, потому что я, ну немножко, такой – чистюля, как это говорится. Я всегда до сих пор, когда слышу о каких-то развратных действиях, я не просто возмущаюсь, у меня физиологическое... Вот я начинаю так (показывает), ну не знаю, это от семьи пошло.

Вот эта этика была только такая. Повторяю, отец мой... У нас в семье о политике, не то что запрещено было, просто не было разговора. Папа никогда меня не воспитывал в каком-то политическом духе: нет и всё. Я сам по себе, он сам по себе. Результат-то такой что, когда я мигрировал и когда другие, такого рода отцы, препятствовали... Вы знаете, мы же должны были получить подписи, что родители согласны отпустить, хотя родители... Я [сам] уже был родитель. Нам в ОВИРе (Отдел Виз и Регистрации) сказали, мол, покажите, пожалуйста, согласен ли отец, что вы выезжаете. Они же знают, как это объясняли, нет ли материальных, финансовых претензий у родителей. А это дало возможность вот таким всяким большевикам своих детей не отпускать.

Это уже было время, в 70-е годы, когда я стал носить Самиздат в Москву, домой и, в частности, *Архипелаг* (Александр Солженицын. *Архипелаг Гулаг*). Это я тоже никогда не забуду...

ФБ: Мы можете кратко рассказать о карьере, с университета до этого времени.

ГА: О своей карьере?

ФБ: О структуре профессии.

ГА: А, пожалуйста. Значит, я окончил педагогический институт и получил диплом учителя русского языка и литературы. И меня направили на работу в город Ялту, в Крым. И первые 2 года я был ну учитель, как учитель. Ну (смеётся) меня объявили лучшим учителем Ялты. Но это было не потому, что лучший, а потому что война только что кончилась, и не было учителей мужчин, а школы были мужские и женские. И поэтому меня стали прославлять, какой хороший учитель (смеётся). На всю Ялту было 2 мужчины учителя литературы; физики, там математики были. И вот меня приняли за хорошего учителя, и тогда я стал делать карьеру, невольно мне не надо [было]... То есть меня сделали членом учёного совета ГОРОНО (Городской Отдел Народного Образования), потом Крымского ОБЛОНО (Областной Отдел Народного Образования),

потом я был председатель секции русской литературы языка Крыма и так далее. Ничего особенного, ну как карьера..? Просто никого другого не было.

Правда, я был москвич, и у меня просто язык русский был лучше, может быть. Ну и меня ученики любили, прославляли, какой я хороший. А так ничего. Вот и вся карьера. Но, мой папа... Я считал, кстати, что никакой карьеры не надо, я *очень* любил свое дело – литературу. Я любил ребят, я любил страшно Ялту... Представьте себе – идти в школу вдоль моря. Вот. А мой папа начал бунтовать: “Ты такой умный, такой хороший, способный, ты погибнешь провинции”. А папа у меня был авторитарного воспитания. Папа сказал, мол, всё, ты возвращаешься в Москву. А у меня уже было двое сыновей. Но папа сказал «всё», я собрал вещи, приехал в Москву.

ФБ: В каком году?

ГА: В 55-м. А там безработица. Учителя литературы не нужны были. Ну, папа поднял трубку, позвонил министру просвещения: они коллеги были; папа был почти в ранге министра. И сказал, вот, мол, приехал Герман, ты его, пожалуйста, устрой. И он меня устроил, всё. Я опять стал учителем, простым учителем! А потом вдруг опять – всё это случайности – на мой урок пришел ведущий методист по преподаванию русского города Москвы. Ну он тоже, по глупости, сказал какой я талантливый учитель и предложил мне перейти из школы в высшее учебное заведение, параллельно – оно у нас называлось так: Институт Повышения Квалификации Учителей. И он мне там дал кафедру русской литературы без отрыва от преподавания в школе. Потом заболел методист министерства просвещения – инспектор Советского Союза по русскому языку и литературе, и не могли найти никого. Сказали, ну вот есть вот Фейн – Андреев это мой псевдоним, моя фамилия Фейн, немецкая – вот есть Фейн, он знает... Ну я стал карьеру делать, я стал работником министерства. Но *никогда* не бросал в школу. Потом вдруг мне сказали: “Ах, какие у Вас блестящие уроки? Не могли бы Вы эти уроки показать по телевизору?” И я стал вести программу телевидения: Московское Телевидение 3-я Программа – Литература для Школьников и Студентов. Это мне было интересно.

А в это время я писал диссертацию, я же доктор. Диссертацию о Толстом, о *Войне и Мире*. Защитил диссертацию... Мне было интересно, и я сделал учебный фильм *Толстой в Ясной Поляне*. Ясная Поляна, Вы знаете, что такое? И вдруг этот фильм занял 1-е место на конкурсе учебных фильмов. Я должен Вам честно сказать, что я всякий раз удивлялся (смеётся). Поймите меня правильно, я не кокетничаю. Мне всегда казалось, что карьеру мою *кто-то делает*. А так как я стал верующим – это другой разговор, я пришел к Богу – я стал быть уверенным, что это не я, а Богу почему-то это нужно.

А в середине 60-х годов создана была Школа №2 – это самое важное в моей жизни может быть – при Московском Университете, физико-математическая школа, вот там учителя были сплошные диссиденты. Не знаю, слышали ли Вы об этой школе, должны были слышать. Директор школы у них не диссидент был, а просто хороший, честный русский учитель Владимир Фёдорович Овчинников. Школа физико-математическая была, и вдруг он мне звонит и говорит: “Герман, иди ко мне замом?”

- Я знаю только $2 \times 2 = 4$, а там алгебра, геометрия, как я могу руководить школой?

- А тебе не надо руководить школой. Дело в том, что мы обнаружили, что мы не можем развивать математические способности на высоком уровне без развития гуманитарных способностей. Мне нужен завуч (заведующий учебной частью) не для руководства математикой, а для руководства духовным, интеллектуальным развитием будущих математиков.

Ну я пошёл. Я стал заместителем директора Школы №2, и в общем стал определять всю политику этой школы. А я уже к этому времени был – я сейчас использую слово 'диссидент' – я стал уже понимать, в какой стране я живу. И вот тут возникла проблема совести. И я решил, если я учитель не математики, не физики, а духовного предмета – литературы, я должен говорить детям – какие там дети там уже взрослые – правду. Еще раз подчеркиваю, не из соображений политических, а профессиональных. Если я учитель литературы, я должен давать историю русской литературы не так, как мне ее навязывают идеологи – они не профессионалы. Я хочу еще раз подчеркнуть, никаких заданий борьбы с советской властью у меня не было. И с идеологией советской... Ну где-то подсознательно может, а сознательно – нет.

Расскажу пример, чтобы Вы знали, что я имею в виду. Однажды мне позвонили из горкома (городской комитет) партии и сказали, на урок вашему учителю истории придёт инспекция из горкома партии. Я сказал: "Пожалуйста". А преподаватель истории был очень известный, настоящий диссидент Анатолий Якобсон. Я не знаю, говорит ли вам что-то это [имя]... Это мой друг большой был. Они пришли к нему на урок. Я был завуч и учитель литературы, а он был учитель истории, мой друг. Его уроки все были антисоветскими. Ну не то что, это ж не митинг был... Он был серьезный ученый, историк. И вот они пришли к нему на урок по Ивану Грозному и опричнине. Но он *так* рассказывал об опричнине, что ясно было его отношение к тайной полиции и так далее. После этого эти инспекторы сказали, мол, пойдёте к вам в кабинет и будем обсуждать этот урок.

ФБ: С Вами?

ГА: Со мной, с ним, обязательно – это стиль такой. Мы собрались, и они начали ругать его урок. Я сказал: "Стоп, мы здесь собрались не для политики". Они начали говорить, вот, это антисоветский урок... Я сказал: "Один момент. Меня ваше мнение по этому поводу не интересует. Меня интересует одно – как вы оцениваете профессиональное качество урока: он сделал ошибку в изложении, он не знает историю, он неправильно общается с учениками?" Они опять начали говорить, что, мол, Вы не понимаете, что мы сами присутствовали при антисоветской пропаганде и так далее. И тогда я сказал: "Встаньте и выйдите, я с вами не желаю разговаривать. Это школа, а не митинг!"

Но такого не бывало Москве, чтобы заместитель директора выгнал представителя горкома – ну это смертельный номер, смертельный номер! Ну вот. А я их выгнал. Сказал, всё, или вы будете говорить профессионально, а митинги устраивайте... Я даже сказал не так, это я Вам сейчас так говорю. Я сказал: "Ну давайте соберём партсобрание, и вы там скажете о политическом содержании урока Якобсона. Я –

заведующий учебной частью, я – не секретарь парторганизации. Я вам говорю, урок Якобсона с точки зрения истории и педагогики был блестящим. Опровергните”, – я стал говорить, мол вот, вот и вот...

- Как же Вы не видите, когда он говорил об опричнине, он клеветал на КГБ!
- Нет, он не говорил ничего о КГБ.
- Не делайте вид, что Вы не понимаете!
- Может и понимаю, но это не имеет никакого отношения к делу.

Ну и я их выгнал. Мне, значит, позвонили из горкома, вызвали и хотели выгнать с работы. Но я схулиганил, я немножко хулиган был. И меня вызвали на совет ГОРОНО. Там была женщина – коммунистка, заведующая, которая сидела и говорила, мол, как Вы смели выгнать инспекторов... А потом она сказала: “А я бы пришла, Вы меня тоже бы выгнали?” Я сказал: “Я красивых женщин не выгоняю”. Она сказала: “Ну ладно, оставим Фейн работать дальше, с выговором”. Максимова была фамилия, до сих пор помню. Дура была страшная, но красивая очень. Я сказал: “Вы знаете, я таких красивых женщин не выгоняю из своего кабинета” (смеётся), а та: “Ну хорошо, ограничимся строгим выговором”. И я остался там (смеётся).

ФБ: Расскажите немного о Вашем методе преподавания духовной части литературы, очень коротко.

ГА: Филип, мне для этого надо несколько месяцев, как я могу рассказать?

ФБ: Я знаю, но очень коротко, главное.

ГА: Главное, хорошо, главное. Главный мой метод – развитие критического мышления учеников. Я, как учитель литературы, излагал им некие факты исторические, а потом переходил на метод вопросов-ответов, всё. Как ты думаешь – я ставлю вопрос, а ты [отвечаешь]... У меня уроки были *не как это принято* – я не осуждаю – просто все уроки в России всегда такие были, я думаю, здесь тоже: учитель говорит, потом вызывает ученика, ученик отвечает. Или [учитель] дает задание на дом, на следующий день урок начинается с опроса учеников. Ты учил образ Печорина в *Герое* (Лермонтов. *Герой Нашего Времени*)? Ученик отвечает, учитель ставит отметки. Следующая тема – Гоголь. Учитель рассказывает....

У меня таких уроков не было. Я разработал свою систему, и она изложена в моей диссертации о *Войне и Мире*, как преподавать *Войну и Мир* – это способ беседы.

ФБ: Я тоже в своих уроках...

ГА: Вот видите, я говорю... Но Вы – западный человек, это естественно. А там это опасно было. Меня же обвинили потом, что я не руковожу идейным развитием учеников, а пускаю дело, как мне говорили, на самотёк. Самотёк – это...

ФБ: Понятно.

ГА: Вот. Они не заметили, что в результате я воспитал огромное количество диссидентов. Никаких (смеётся) самотёков не было.

ФБ: Вы воспитали довольно многих...

ГА: Ну практически все – мои ученики. Ну, простите, мои ученики почти все сейчас на Западе, почти все сбежали.

ФБ: Кто?

ГА: Ну скажем, сын Даниэля. Александр Даниэль – это мой ученик литературы. Вы хотите чтобы известных людей назвал, ну нет, известных... Ну кто у меня был... Таких известных не было, просто потому, что они еще были детьми, когда было диссидентское движение. Теперь, ну, например, министр внешней торговли в правительстве Ельцина, самый главный либерал, Авен такой был – это мой ученик. Теперь он хозяин банка какого-то. Он абсолютный либерал, демократ. Евгений Сабуров – премьер министр Крыма, это был это мой ученик. Но Вы понимаете, что они долго не продерживались. В теперешней России они не могут продержаться. На волне гайдаровской, либеральной, Сабуров и Авен были наверху. А теперь, Ельцин начал всё это крутить назад, они все вылетели, это ясно.

ФБ: Почему Вы использовали этот метод критического мышления, метод беседы, как Вы дошли до этого момента? В то время, как другие преподаватели с теми же традициями и воспитанием – нет. Где Вы нашли смелость и моральное чувство?

ГА: Вы сейчас удивитесь, что я скажу, удивитесь. Дело в том, что когда к власти пришёл Хрущёв... Вот это моя особенность – почему я не считаю себя борцом... Я всегда *играл* с правительством в ногу. Когда пришел Хрущев, после Сталина, и началась борьба с культом личности, то это перешло и на педагогику: что, мол, вот было догматическое преподавание, заучивали наизусть, надо развивать у учеников самостоятельное мышление. А я это принял всерьёз. Это же была игра. Я никогда не забуду, как спрашивали... Раньше было так: ученик на выпускном экзамене доставал билет, а там было скажем 'Коллективизация'. И он говорил всё, как надо и про коллективизацию, и потеснение... Теперь, при Хрущеве, надо было так: как ты думаешь, коллективизацию наша партия провела правильно? Он думал, думал и говорил, мол, конечно, правильно. Значит он уже самостоятельно мыслит! (смеётся) Он не мог другого сказать (смеётся). Это было то же самое – игра. А я перестал играть, я сказал: "Нас партия учит, что требует наша партия, товарищ Хрущев, уже не сталинское время..."

ФБ: Но почему Вы перестали играть?

ГА: Нет, это игра была, я тогда играл. Перестал я играть в середине 70-х годов, когда разогнали Школу №2. Повторяю еще раз: я – не борец, не диссидент, я играл вместе с партией, но только предложение партии я принимал всерьёз. Они говорят развивать мышление – буду развивать, а буду развивать – это значит буду пропаганду вести. Да. И когда я задавал [вопросы]... А вопросы я все задавал всегда – о Пушкине ли мы

говорили, о соцреализме ли мы говорили – я задавал вопросы, на которые невозможно было ответить однозначно. Всё. Думай.

А дальше я делал такую вещь: когда ученики приходили к абсолютной антикоммунистическим выводам, я говорил, например, Миша – 5, может быть я с тобой не согласен, но я тебе ставлю 5 за прекрасный язык, за свободу мышления, а я с тобой может быть не согласен – я не говорил *не согласен*, я говорил *может быть не согласен*. Всё. Поэтому я играл с партией, только я делал вид дурачка. Ну не делал вид, а действительно дурачок был, до какого-то момента. До момента, когда я понял, что так не играют, если хочешь быть полностью внутренне свободным. А я играл с ними. А чего..?

А дальше получилось следующее: не только я, вся Школа №2... Мой директор Владимир Фёдорович Овчинников – мой большой друг – был, простите, до этого секретарем обкома комсомола Калужской области – это *большой* чин – он тоже поверил в партию, поверил в оттепель. И он мне сказал: “Слушай, Герман, давай сделаем настоящую коммунистическую школу, но не сталинскую, а прогрессивную. Как нас партия учит – свободное мышление, серьёзная работа, никакой пропаганды”, я говорю: “Давай, Володя делать, как нас партия учит”. Короче, мы доучили до того, что школу запретили, одного учителя посадили, а Овчинникова выгнали без права преподавания. Нет, преподавание ему оставили, без права административной работы. А меня выгнали. Опять, не выгнали! Я тоже хитрый, я уже ушёл...

ФБ: Это было в каком году?

ГА: Это было в 67-м году.

ФБ: Когда Вас выгнали...

ГА: Нет, не меня выгнали, я неточно сказал, разогнали школу. Было тоже хитро [сделано], ну они же жулики, эти коммунисты, ну ладно... Они же что сделали, они не разогнали школу. Была создана комиссия ЦК (центральный комитет) партии во главе с неким Ягодкиным. Он был 2-й секретарь московского горкома партии – Ягодкин; мы его называли шёпотом называли Ягодкин, упоминая Ягоду (Генрих Ягода, глава НКВД, основатель ГУЛАГа). Вот. Они собрались, стали ходить ко мне... Это было ужасное время: в течение полугода, каждый день на уроке каждого учителя сидели партийные проверщики. У меня из кабинета не выходили, листали все документы, программы, планы, оценки, фамилии учеников и так далее. И в результате собрали собрание школы и сказали, мол, ваша школа занимается антипартийной деятельностью, вы потеряли бдительность, у вас то-то, сё-то... И горком партии принял решение – у них была такая формула – ‘укрепить кадры’ – это значит выгнать [прежних], назначить своих. Ну так и было. “Школа №2”, – они говорили – “Это очень нужное дело! Как же, физико-математическая школа!” Но, ‘укрепить кадры’ – это означает уволить директора, уволить завуча... Нет, со мной не так немножко было, но это неважно... Я опять хитрил, я не был борцом: я ушел за день до этого решения, убежал из школы – всё. Причём, по совету Володи. Володя сказал: “Знаешь что, Герман, спасайся сам”; мы любили очень [друг друга], мы были почти братья.

Ну неважно, предположим: завуча – уволить, учителей литературы таких-то, таких-то – уволить, учителей истории таких-то, таких-то – уволить... *Школу сохранить!* Как же, она и сейчас есть. Я вот сейчас был...

ФБ: Эта школа...

ГА: Вторая Физико-Математическая Школа.

ФБ: Для какого возраста?

ГА: Это школа, только старшая была, с 8-го по 10-й класс, оттуда прямо в университет. У нас преподавали не только учителя, но и профессора университета.

ФБ: Я хочу такой вопрос задать: укреплять критическое мышление – это существенный аспект в жизни, но это не то же самое, что укреплять совесть человека – это связано, но это не то же самое. И может быть люди, у которых было сильно развито критическое мышление, но не совесть, могли, например, под влиянием страха или в интересах карьеры, пойти на компромисс с совестью? Вы понимаете?

ГА: Вы кого имеете в виду: моих учеников, меня или учителей?

ФБ: Я не имею в виду отдельного человека.

ГА: Нет, я имею в виду, какой тип человека, какую сторону, учителей? Эта сторона класса, та сторона класса (смеётся)?

ФБ: Человек, который получил хорошие отметки, может быть блестящим философом, понимать все аспекты каких-то вопросов, но позднее, когда дело доходит до его карьеры, и авторитеты требуют от него, он может пойти на компромисс...

ГА: Так, на этот вопрос я не могу ответить, потому что для этого я должен был бы следить за дальнейшим путем моих учеников. Они же уходили и всё. Я же не знал, что с ними было дальше. Я не знал. Я понимаю Ваш вопрос – сочетание интеллекта и совести, в какой они находились в связи. Дело, вот в чём, повторяю, я не следил за дальнейшей судьбой учеников. Одно знаю – думаю, что если мои ученики совершили какую-нибудь, уж очень большую подлость, я бы узнал. Не знаю таких вещей. Не знаю, чтоб какой-то мой ученик... Сейчас – я не буду называть фамилию – представитель ИТАР ТАСС в Бонне – это мой ученик, крупнейшее представительство... И мне называли все, что он был работником КГБ. Но для меня, Вы понимаете, это огорчительно, тем более, что это был один из моих любимых учеников. Но я же не могу проверить. Ну как я могу проверить? Он ведет себя по отношению ко мне – а я иммигрант, между прочим – идеально. В статьях его – он пишет для многих газет – *Новое Время*, Вы знаете, журнал? Он в *Новом Времени* пишет... Ну нигде я там не вижу такого, что он что-то против совести сказал или сделал. Я знаю его семью...

ФБ: Я не хочу никого обвинить...

ГА: Я не говорю об обвинении, я говорю, что я не знаю. Я не могу определить... И вообще, простите, Филипп, я не совсем понимаю, что такое совесть. Скажу Вам, в чём отношение: где чёткие границы? Вот, например, мой папа был человек совести или нет? Мой папа никогда ничего не сделал против совести, кроме одного – он служил этому режиму. Правда служил как инженер, а не как пропагандист. Мой папа – автор Братской ГЭС (Гидроэлектростанция), мой папа – автор Волгоградской ГЭС, автор проекта, он подписывал все это... Я сказал как-то: “Папа, вот вы построили Братскую ГЭС. А вы знали, что из-за этого гибнет Байкал?” То есть проверка – совесть есть? Да никакой совести! Но он был профессионал, и он говорил, мол, мы же рассчитали все, ты посмотри, сколько электроэнергии. И начинал мне романтические вещи рассказывать: здесь, в Сибири возникнут заводы-фабрики, здесь будут масса рабочих мест, мы будем создавать алюминий, алюминиевое производство, всё это благодаря электричеству и так далее. Я сказал: “Папа, вы губите там”. А потом, позже правда, я спросил его: “А кто строили все эти ваши ГЭС?” Я-то уже знал, что зэки (заклученные) строили. Немножко в сторону... Я уже начал, но ушел сторону...

Когда появился Солженицын, и у меня был запрещенный-перезапрещенный *Архипелаг*, который мы с женой читали по ночам, утром, я как-то сказал: “Пап, хочешь почитать?” Знаете, что мне папа сказал? “Не буду читать”, – он боялся – “И тебе не советую. И вообще, я тебе запрещаю приводить сюда людей и раздавать копии”. Вы знаете, что такое Самиздат? Я сказал: “Папа прости, мне дали почитать и просили из одного экземпляра сделать три” – ну так мы делали Самиздат... “Ну хорошо, раз обещал – выполни”. И всё.

А потом, и это отражено у Солженицына в одной вещи... Однажды мой папа пришел, это был 74-й год и сказал: “Герман, завтра твоего Солженицына будут арестовывать”. Я говорю: “Папа, зачем ты мне это говоришь?”

- Ну я тебе просто говорю, ты же любишь своего Солженицына.

И ушел в другую комнату. Ну я сел в поезд и поехал туда, где был Солженицын, сказал ему: “Александр Исаевич, будьте осторожны”. И это отражено – Солженицын пишет об этом, у него есть книга, я не знаю, знаете ли Вы, *Бодался Телёнок с Дубом* – там он пишет, не называя меня – он когда писал, не знал, где я и что – он написал: “Меня предупредили о готовящемся аресте”. Это был я. Но ведь это мой папа сказал. А как он сказал? Он сказал: “Герман, сегодня было партийное собрание госплана, выступал министр (неразб. 39.00) и сказал, что завтра утром будем брать Солженицына”. Я говорю: “Пап, зачем ты мне это рассказываешь?”

- Ну как же, ты же вот любишь его. Я его не знаю, но ты же слышал, вот я тебе сказал.

Я вскочил ночью, поехал в Переделкино; Солженицын жил у писателя Чуковского. Я ночью приехал и сказал. Вот. Всё. И ничего больше, папа никаких.... Тут же поехал.

ФБ: И Вы никогда не говорили [об этом] с отцом после?

ГА: Никогда! Нет. Я вскочил. Он говорит: “Ты куда?” Я говорю: “Папа, я к Корнею Ивановичу”. Он знал, что я с Корнеем Ивановичем Чуковским дружу. Он, мол, ну куда ты поедешь так поздно и прочее, старик там спит, и вообще электрички... Я говорю: “Знаешь, папа, я вот читал много, устал, поеду...”

- Ну поезжай, только ты когда вернёшься?

- Я завтра вернусь.

Все дела. И когда я вернулся, он ничего не спросил. А что значит, спросил? Я же не у Солженицына был. Я был у Чуковского. Я и так к Чуковскому часто ездил – это он знал, эту дружбу он одобрял.

ФБ: Вы можете немного рассказать, как Вы делали самиздатскую работу?

ГА: Я не делал никакой самиздатской работы, что Вы! Не дай Бог! Нет, нет значит... Я хочу, чтобы Вы поняли, может Вы знаете, извините, может быть я скажу то, что Вам известно: понятие диссидентство не ограничивается ядром диссидентских деятелей.

ФБ: Я это знаю...

ГА: Я это объясняю всегда, и я читаю лекцию сейчас в Майнце об этом.

ФБ: Я хорошо это понимаю.

ГА: Есть сферы, круги... Вот есть ядро. Я к нему не относился. А был широкий круг интеллигенции, к которому я относился, который сочувствовал, интересовался. Вот это я был. Как – это сложно сказать, это не сразу. Я подружился с одним ведущим диссидентом, к которому я сейчас отношусь *крайне* отрицательно – Роем Медведевым. Я не знаю, говорит ли Вам [что-то это имя]. Рой Медведев был моим приятелем. И он меня стал снабжать самиздатской литературой. Рой Медведев! Он мне все давал. Мы жили с ним рядом. Вот. Я должен сказать, что я с одной стороны, гордился, что мне оказывает доверие такой опасный для советского режима человек, с другой стороны, мне было страшно интересно. Мне было просто интересно, я не собирался с ним (режимом) бороться. Но. Тут получилась одна вещь: когда Солженицын еще был в России, он выпустил книгу со своими товарищами, которая называется *Из-под Глыб*. И мне звонит Рой Медведев, который был страстным врагом Солженицына, и говорит: “Слушайте, Герман, вот Вы почитайте”. И в это время Рой Медведев стал издавать свой подпольный самиздатский журнал, который назывался *Двадцатый Век*. И он мне сказал, мол, Герман, прочитайте... Он хитрый очень был. Он знал, что те идеи, которые в *Из-под Глыб*, я не разделяю. Я прочитал *Из-под Глыб* и написал полемическую вещь, которую тут же взял Медведев, но не опубликовал в журнале *Двадцатый Век*, потому что это был маленький журнал, а передал в немецкий *Хоффман и Кампэ* (*Hoffman und Campe*, нем.). Вы знаете такой? И вот в Хоффман и Кампэ, когда ещё был СССР в 75 году, в год когда я уезжал, вышел сборник, он назывался очень смешно – смешно для меня – *Социалистическая Оппозиция в СССР*. И там были все социалисты, кроме меня. Моя статья называлась *Лев Толстой и «Из-под Глыб»* – два взгляда на Христианство (Христианство, Л. Н. Толстой и сборник

«Из-под глыб»). Она была абсолютно... Я никакого... А там были Копелев, какие-то там еще социалисты, я о них не слышал... Копелева я через Чуковского знал...

Так что я никакой не был борец! Я написал вещь, а смысл был простой: Солженицын доказывает всякие, на мой взгляд, неверные националистические идеи истории России. Он там – он и его друзья – по-моему идеализировали Россию и говорили то, чего не было в России, а я написал то, что было. Это раз. И два: они там доказывали, что это сборник истинно христианский, а я показал что то-то, то-то и то-то – я уже сейчас не помню, что я там писал – не истинное Христианство. По-моему истинное Христианство – Толстой, ибо к этому времени я стал толстовцем. Вот и все. Вот и вся моя политическая... Какая политическая, какая там, как Вы говорите, самиздатская деятельность? Никакого Самиздата. Кстати не я издавал, это Рой Медведев издавал. Я ему дал и всё, а что я буду...

Но. Повторяю, огромные круги интеллигенции распространяли этот Самиздат, на мой взгляд, без всякого стремления свергнуть советскую власть или бороться с ней, а из самого обычной духовной жажды – жажды, знания. И для меня всякий раз, когда мне давали, вот это вышло, это вышло... Я считал себя профессиональным [человеком], что я должен [читать]. Что же я читаю только официальные вещи, а может быть, там не так всё. Понимаете? Так что я не называю это диссидентской работой, это духовное противостояние, которое шло... А шло оно, я же Вам не всё ещё рассказал...

Дело в том, что по маминой линии – мамыны предки, все были народники. Они были антибольшевиками: эсеровцы (от СР, социалисты-революционеры); моя бабушка была с Плехановым, она сидела... И у нас был культ антибольшевизма, на личном опыте. Мой дядя, скажем, совершенно странная фигура, он был эсером, и в советское время не был арестован, а был председателем – Ленин создал это, разрешил – это называлось общество политкаторжан, то есть царских. Потом он сажал, Сталин сажал их, а мой дядюшка как-то остался. Это было уникальное явление, потому что он за столом всю жизнь ругал большевиков с позиции социалистов-революционеров.

Ну вот у нас была такая система, что вот этот дядя и всё... Бабушка моя, повторяю, сидела, плехановка была, как она называла... Большевики – это было что-то. А папа стал большевиком, потому что он не мог заниматься карьерой инженера. Вы скажете о совести у папы была? Ну не знаю, была у папы совесть или нет. Я ни разу ни в чем не видел, чтобы мой папа совершил бессовестный поступок – исключительного благородства человека, исключительного! Я всегда рассказываю историю... Ну вот, например, у него была своя машина, он не знал этого. Вот сейчас сын мой приехал... А тогда он был маленький, мы жили на даче, у него случился приступ аппендицита. Я звоню папе: “Папа бери такси и приезжай скорее с врачом”. Хорошо. И вдруг, через некоторое время, въезжает правительственная машина. Я говорю: “Папа, это что?” А он так смущенно сказал: “Герман, я пошел к Байбакову и сказал «Вы знаете, отпустите меня с работы, мне нужно такси взять, у меня у внука припадок»”. И этот Байбаков посмотрел на папу: “Вы что вообще, у Вас же стоит *Ваша* машина, возьмите, скажите шофёру, чтоб он отвёз!” (смеётся). Это был такой у нас ажиотаж – на дачу въехала правительственная машина с какими-то огоньками (смеётся). Я говорю: “Что будем делать? Врача?” Папа смущенно: “А Байбаков сказал, чтобы я Андрюшу вёз в

Кремлёвку” (Кремлевская больница). Я говорю: “Ну вези”. У меня совесть тут не сработала (смеётся), что другие дети [...]

(Конец первой части)

Часть 2

ГА: [...] Вот такая у меня была оригинальная, в этом отношении, семья.

ФБ: Вы заметили, что Вы стали верующим...

ГА: Да.

ФБ: Это произошло в это время?

ГА: В Советском Союзе. Да, так вот я сказал, что полностью я порвал с этой системой, внутренне – внешне я не боролся с ней – когда стал верующим. Это было тоже очень смешно. Я писал диссертацию по *Войне и Миру*. И меня вдруг заинтересовала не историческая *часть Войны и Мира* – которыми я тоже страшно интересовался – не литературная, а духовная. Я стал искать, в чем дело. Ну не может быть, что нас потрясает, меня во всяком случае, *Война и Мир*, потому что там кто-то хорошо изображён или война какая-то идёт... Она меня касается какими-то струнами, мне не совсем ясно. Но уже в *Войне и Мире*... Вы знаете возможно, Толстой, когда писал *Войну и Мир*, он еще не был проповедником христиан, но там уже там было! Там было уже много... Ну и потом я стал читать Толстого, и где-то с 67-го года я *проконспектировал* все философские основные труды Толстого. И стал читать лекции моим студентам философско-религиозные учения Толстого.

ФБ: Это было в какие годы?

ГА: В середине 70-х годов, незадолго до моего отъезда. То есть, когда уже разгоняли Школу №2, я уже не играл с ними. Я уже знал, что они – враги, никаких тут не может быть...

ФБ: Это в каком году?

ГА: В 67-м году разгоняли Школу №2. Я уже тогда считал, всё.

ФБ: Вы продолжили работать учителем в другой школе?

ГА: Да. Меня выгнали из школы, но понимаете, в чем дело, я был одним из самых известных московских учителей. А среди директоров московских школ были, простите, люди с совестью тоже, и когда всюду стало известно, что Школу №2 разогнали, потому что они там ‘контрики’ (контрреволюционеры) и так далее, меня никуда не брали. Но нашлась одна дама директор, которая меня взяла, потому что она меня, как учитель, оценила, потому что я учил её дочку когда-то, а дочка меня любила – вот и вся борьба.

[Дочка] сказала, мол, слушай, мама Герман Наумовича выгоняют, никуда не берут, но ты же знаешь какой он учитель и так далее... Она мне позвонила, и я стал у нее работать.

ФБ: И Вы начали [говорить] о Толстом, когда учили эти классы?

ГА: Нет, там уже не о Толстом, там я уже просто вел антисоветскую пропаганду. Но опять, без всяких вызовов, я даже не знал... Раз уж мы... Вообще я не понимаю мы о совести говорим или обо мне, я и совесть... Ну ладно (смеётся).

Я был сейчас в Москве прошлым году, и класс вот этой новой моей школы узнал, что я приехал; я думал, они меня забыли – кто-то пронюхал. И они собрали встречу со мной. Они уже мамы, папы, я не знаю... И вот разговаривали. И я говорю, мол, ребята, ну я был в советской учитель, ну как же... Они там все теперь с гайдаровской группой, мои ученики, все симпатии – Гайдар, Явлинский... Я говорю, мол, ребят, мне неудобно как-то, я же вас воспитывал, должен говорить был что-то такое, как велели... Воцарилось молчание.

- Как, это же Вы нас такими сделали?

- Как, я не делал вас такими...

... либералами, то есть. И тогда они мне напомнили один факт из урока: “А Вы не помните, как Вы пришли к нам в класс и сказали, что пришли билеты выпускных экзаменов, там есть билет социалистический реализм, и вы сказали: «Ребята, я хочу, чтоб вы получили хорошую отметку. Возьмите ручки, я буду диктовать, что вы должны отвечать. Но всё, что сейчас буду говорить, впервые, я буду говорить дикие глупости»”, – это они мне сказали, я забыл всё, мол, всё это бред сивой кобылы, но я не хочу чтоб вы провалились. А потом вы пойдёте в университет, вот запишите...

Ну вот Вы скажете опять без совести. А я говорил, что всё это враньё, но пишите потому что я хочу, чтобы вы попали в университет, я не хочу, чтобы вы проваливались – я за вас отвечаю, за ваше будущее. Это они мне напомнили и потом они мне стали приводить какие-то примеры... Да! Ещё они мне напомнили, я тоже забыл...

ФБ: Если я понимаю, Вы стимулировали критическое мышление, но делали это так, чтобы они приняли это как правила игры..

ГА: Да, конечно. Вот тут мы с Вами подошли к очень больному месту. Месту, не больному, я считаю, это как антиномия, как Кант говорил – где нет правды, на мой взгляд. Передо мной стоял выбор, как и перед всеми другими, которые боролись с этой системой – бороться с ней так, чтобы процессе борьбы кто-то погиб во имя правды, время абсолютной совести, или нет. Я пошел по второму пути. Я был учитель. Мне доверили детей. Это была центральная московская школа, все эти дети были детьми интеллигенции. Все интеллигенты хотели чтобы их дети поступили в университет. Если бы они говорили... Ну на пример, человек поступает в университет, достаёт билет, а там ‘соцреализм’, и говорит, мол, вы знаете, наш учитель сказал, что это всё бред сивой кобылы, но я вам сейчас всё расскажу. Ну его выгнали бы. Нет, я

чувствовал себя ответственным за тех, кого мне доверили. Я не знаю, что Вы, Филип, скажете по поводу моей совести, я выбирал это.

ФБ: Я ничего не говорю, я просто...

ГА: Да, да, да, да. И так я всегда *преподавал*. Я на уроке, вот никого нет в классе, мои ребята... Я говорю: "Ребята, я хочу чтоб вы стали людьми, чтобы думали свободно". Ну и в конце я стал преподавать богословие, Библию... Не прямо. Я ввел урок, который назывался Библейские Мотивы в Русской Литературе. Всё. Русская литература вся была христианская. Это всё было так, как я думал, и сейчас я бы также преподавал, только я сейчас больше знаю, но это другой вопрос, и больше понимаю, Христианство, скажем. Но я им говорил, мол, ребята, будьте любезны знать, где вы живете, в какой стране. Да, вы должны готовиться к экзаменам так, чтобы сдавать экзамен в ВУЗ (Высшее Учебное Заведение) *не мне*, а тем, кто вас провалит за всё ваше свободное мышление. Правда, я добавлял чтобы они выбирали сами путь жизни. Они выбирали. Вот и всё. Вот то, что я делал: совесть это, не совесть – не знаю. Ну вот так, дорогой мой Филип.

Да, а потом уже, когда я дал Рою Медведеву эту статью, тогда я поставил уже цель – войти в это движение, потому что я уже не мог: мне казалось, что это не... И знаете когда, когда выселили Солженицына. Когда выдворили Солженицына, мы с женой, я помню, сидели и сказали, что этой стране жить нельзя. Надо или бороться с этой мерзостью, если они выдворили самого великого – как я тогда считал сына России – или уезжать. Она сказала – уезжать. Мне это понравилось, я не хотел бороться. Но если б она сказала не уезжать, я бы... И я уже начал делать шаги, очень простые. Это был тот цирк, когда... Мы слушали еще Свободу. Включаем радио Свобода: "Говорит радио Свобода, будем читать статью Германа Андреева". А тут мой папа сидел, и он говорит: "Герман, а это не ты ли Андреев?" Я говорю: "Пап, я не посылал, клянусь, я не знаю, кто им послал". Папа встал и ушел в другую комнату. Я перепугался со страшной силой; я повторяю, я – не герой. И решил, что раз уж дошло до этого, то я должен выбирать или борьбу, после этого, или эмиграцию. И решил я для себя, как всегда, двулично, что я буду стараться уехать, а не отпустят – буду с ними бороться. Они меня отпустили.

Мужчина: Они тоже хитрые.

Женщина: Зачем им это нужно с тобой бороться...

ГА: (смеётся) Да! Они меня выгнали. Тут же, в момент, я получил приглашение из Израиля, на 2-й день после того, как я... Как это приглашение из Израиля шло, я не знаю. Но знаете, это смешная история: мне прислал приглашение какой-то житель Израиля, еврей. Но я не знаю еврейского языка – нет, он писал по-английски – я не понял имени. И меня вызывают в ОВИР и говорят: "Вы к кому едете?" Я говорю: "К тётке еду". А когда я приехал в Вену, мне говорят в еврейской организации, что нужно поблагодарить человека, который... Я послал письмо, мол, дорогая тётка – нет, я не писал так, я писал госпожа такая-то – благодарю Вас и так далее. И получил очень милое письмо, что, мол, я очень рад, что кому-то ещё помог, только извините, я – не тётка, а дядя (смеётся), я – мужчина, я не женщина. Мы так хохотали (смеётся).

Вот так. Вот так. Не отпустили бы меня, я наверное бы сел, потому что у меня уже была, когда Солженицына [выселили], ярость и ненависть к этому строю.

ФБ: Значит став верующим, это повлияло на совесть?

ГА: А как же?! А откуда она еще, совесть?! Это атеисты думают, что совесть – это культурное явление. Это только религия! Я не верю в совесть...

ФБ: Не из истории, из Вашего опыта?

ГА: Только! Только. Объясняю, почему я так считаю. Вы очень правильно, Филип, сказали, не только у учеников, критическая мысль, которая была у меня, она не требовала от меня совестливых поступков, она от меня требовала свободы мысли. А когда я стал верующим...

ФБ: Это было когда?

ГА: Ну я не могу точно сказать, когда писал диссертацию о *Войне и Мире*, 63-64 годы, у меня вышла эта книга изданная в СССР, тоже из смешного...

ФБ: В середине 60-х.

ГА: Это была тоже смешная история. К сожалению, к глубочайшему сожалению, Ленин писал о Толстом. Написать диссертацию о писателе, о котором писал Ленин, очень трудно. Скажем, о Лескове можно было писать более свободно, чем о Толстом, потому что Ленин, слава Богу, о Лескове [не писал]. Вот. Я написал диссертацию, где я не упомянул Ленина. Ну и мне сказали, что не может быть и речи, не издадим... Это было время, когда диссертацию, надо было издавать обязательно. Но у меня была редактор – дама одна....

Женщина: Всё время дамы...

ГА: ...которая ко мне хорошо, мягко говоря, относилась. Она получила редактирования. Мы с ней долго иногда засиживались ночами (смеются). И она поступила со мной так же, как я с моими учениками – она сказала: “Герман, ты хочешь чтобы твоя книга вышла?”

- Хочу.

- Так вот цитируй Ленина, что ты согласен с Лениным в оценке.

- Я не могу! Я не согласен с Лениным...

- Герман, я тебе гарантирую, что никто не будет проверять, согласен ты или нет.

Ну и я там сделал цирк просто, никто не заметил. Ну, к примеру, Толстой изображает князя Андрея на Аустерлиц, он думает о небе, как правильно сказал товарищ Ленин, рабочий класс победит... Ну что-то в этом роде (смеется), примерно так (смеется). И прошло! Хотя мою диссертацию обсуждали в Музее Толстого, на ученом совете, и какие-то гады почувствовали это и сказали, тут что-то нечисто: “Почему-то *Война и Мир* рассматриваются не с позиции учения Ленина о Толстом”. Моя редактор выступила с

наивными глазами, мол, как, смотрите, я вот редактор, там 15 цитат, чуть ни глава – цитата из Ленина. Одни дурачки посмотрели и сказали: “И правда, что это мы на Фейна нападаем?” Но там один умный был, такой знаменитый Ломунов, очень крупный толстовед и КГБист. Он сказал, знаете, не морочьте нам голову, анализ *Войны и Мира* у Фейна дан с точки зрения религиозного учения Толстого, а не Ленина. Тут вырвался мой принципиальный Толя Якобсон, он герой был, вот как они все; я ж не герой, я сидел и дрожал. Он пьяный, конечно, был и сказал, обращаясь: “Вы что, думаете, если бы Льва Николаевича Толстого осенила ваша партийная благодать, он бы написал *Войну и Мир* ещё лучше?!” (смеётся) Но тут я так перепугался, я говорю: “Толя, Толя, что ты говоришь?” (смеётся) Ну тут они испугались, и приняли [диссертацию]. Книга была издана. Такая смешная вещь у нас (смеётся), это я никогда не забуду: “Осенила ваша благодать...” (смеётся)

Ну вот так. Всё, что мог... Если есть вопросы...

ФБ: Хорошо. Я думаю, что всё....

ГА: (женщине) Он мне не задал вопроса общего. Ну ладно.

Женщина: [Что]?

ГА: Он не задал общего вопроса о том, что я думаю о совести диссидентов. Он обо мне...

Женщина: Не задавал?

ГА: Ну не задал. Ну [если] не надо (смеётся).

ФБ: *? (14.10)

Женщина: (Филипу) Нет, что *Вы* не задали ему вопросов, он говорит, о совести диссидентов.

ГА: Филип, понимаете, в чем дело, я не так представлял себе это интервью. Я думал, что интервью будет абстрактно-философским, а оно оказалось обо мне. Ну пожалуйста (смеётся), пусть обо мне.

Ф: Да, это была идея чтобы [...]

(Конец интервью)